

Глеб Иванович Успенский

Письма с дороги



Глеб Успенский
Письма с дороги

«Public Domain»

1887

Успенский Г. И.

Письма с дороги / Г. И. Успенский — «Public Domain», 1887

«Письма с дороги» представляют собой самый крупный публицистический цикл очерков Успенского второй половины 80-х годов, проблематике которого сам писатель придавал большое значение; над окончательным оформлением этих «Писем» он много работал. «Письма» появились в результате поездки Успенского на юг, продолжавшейся с марта до середины июля 1886 года. Писатель ездил по Северному Кавказу, был на кавказском побережье, в Крыму, в Одессе, Севастополе; он путешествовал и по железной дороге, и на лошадях по станицам, и на пароходах по Кубани и вдоль берега Черного моря. Причиной этой поездки Успенского было стремление к более широкому и разностороннему изучению русского народа...»

© Успенский Г. И., 1887

© Public Domain, 1887

Содержание

I. Веселые минуты	5
1	5
2	11
3	17
Конец ознакомительного фрагмента.	18

Глеб Иванович Успенский

Письма с дороги

I. Веселые минуты

1

Волею фургонщика, доставившего меня в Новороссийск тотчас после того, как пароход Русского общества, на который я должен был сесть, благополучно отбыл к портам черноморского побережья, то есть именно туда, куда мне и следовало ехать, я обречен был пробыть в этом совершенно незнакомом мне городе ровно целую неделю, вплоть до будущего воскресенья, когда должен был прийти другой пароход того же общества. И, несмотря на то, что в этом городе у меня не было ни одного человека знакомых, на то, что была страстная неделя и что Светлый день я должен был провести в полном одиночестве, несмотря, наконец, на общее безлюдье, отличавшее тогдашний¹ Новороссийск, я все-таки был ужасно рад и счастлив, что извозчик запоздал, что он подарил меня этою тихой, бесшумною страстною неделей, дал мне в эти семь дней освежиться от удручающей тоски, вывезенной из столицы, и осчастливил возможностью беспрепятственно впитать в себя те живые, к счастью радостные впечатления, которые уже дала мне живая русская жизнь за недолгий промежуток времени, проведенного в дороге от Петербурга до Новороссийска.

Все, все без разбора и без всякой критики радовало меня в эту поездку, потому что даже то, что я видел в вагоне, на станции и из вагона в окно, – все была *жизнь*, все напоминало, что Петербург еще не окончательный результат, к которому пришла вся русская жизнь, что есть еще что-то гораздо более интересное, именно – есть еще Россия, жизнь русского народа, жизнь всего этого разнокалиберного встречного населения – мужиков, баб, купцов, господ, духовенства – словом, всего, что вот опять я своими глазами увидел в течение переезда от Петербурга до Новороссийска. На что бы я в этот краткий промежуток времени, проведенный в дороге, ни смотрел, все было мне радостно видеть, все заставляло меня думать: «Слава богу! как я рад!»

Как видите, состояние духа было положительно необыкновенное: не то это была просто радость ребенка, только начинающего ощущать вокруг себя все разнообразие окружающей *жизни* и счастье чувствовать себя с ней неразрывным, или же – и это будет вернее – я просто был «рад», сознав себя, что я не умер, что я жив и что временное мое душевное изнурение было временное, не больше, что при малейшем прикосновении подлинной жизни согреется и моя душа, охладевшая в ледяном доме, называемом Петербургом.

Времена в эту пору для людей, обреченных пережить весь реформенный период в более или менее впечатлительном возрасте, были поистине изнуряющие душу. Перед самою моею поездкой по России пришлось мне провожать одного из моих приятелей за границу, и вот какого рода болезненные разговоры вели мы с ним перед нашею взаимною разлукой.

– Да что же тебе за границей-то надо? – спросил я его в то время, когда в его номере, при помощи прислуги, шла укладка и упаковка его вещей для отправки на Варшавский вокзал.

– Да просто... очувствоваться! – сказал он растерянно и с каким-то тупым выражением лица.

¹ 1886 год.

Я понимал, что он не мог бы сказать мне в ответ никакого иного слова, да и сам знал, что вопрос мой ему – совершенно излишний и ненужный. И наш разговор на этих нескольких словах, вероятно, прекратился бы, окончившись крепкими и молчаливыми рукопожатиями, если бы одно совершенно ничтожное обстоятельство не дало моему приятелю возможности несколько подробнее выяснить смысл его хотя и понятного, но недостаточно определенного слова «очувствоваться».

Это ничтожное обстоятельство состояло в следующем: один из прислуги, занимавшейся укладыванием вещей, обыкновенный коридорный петербургских гостиниц, подошел к комоду, чтобы вынуть из него все, что там осталось. Но оказалось, что комод заперт, а ключа нет. Коридорный ушел и скоро принес целую пачку ключей всевозможного рода: маленьких, больших, длинных, коротких. И все эти ключи, несмотря на свое разнообразие, беспрепятственно входили в один и тот же замок – так он был испорчен, «разворочен» и вообще искалечен во всех отношениях. Все ключи, большие и маленькие, входили в эту разломанную дыру, вертелись, кружились совершенно свободно, даже щелкали, а комод все-таки не отворялся. Наконец, выбившись из сил, коридорный ругнул этот замок и ключи и решил испробовать последнее средство: взял и хлопнул кулаком по верхней крышке комода. И что же? Замок щелкнул на этот раз довольно певуче, и комод отворился.

Так как говорить нам с приятелем было почти не о чем, потому что слово «очувствоваться» исчерпывало все темы разговора, то и мы поэтому молча наблюдали всю эту возню коридорного с замком. Когда же вся операция кончилась, вещи были вынуты из комода и уложены, а коридорный ушел, мой молчаливый и отупевший приятель вдруг оживился и сказал:

– Я все смотрел на тот замок... и знаешь что? Вот точь-в-точь и сердце мое стало такое же, как и этот замок. Все ключи входят, и щелкают, и кругом поворачиваются, а никакого толку, никакого ощущения нет! Ничего меня за живое не хватает, не берет. Какие хочешь принимай и делай реформы, мероприятия и в каком тебе угодно направлении, ничего не чувствую – ни радости, ни печали. Уж очень свободно, прихотливо, без всякой церемонии над моим сердцем похозяйничало наше время! Сколько туда за всю мою жизнь входило и влезало всяких ключей, веяний, течений, направлений!.. И все они хотели его отпереть совсем не в ту сторону, куда бы оно непременно отперлось само... Каждое из этих веяний и направлений, то длинное, как этот длинный ключ, то как ключ короткий, все норовили его отпереть на свой образец – то в одну сторону, то в другую, а то и так, зря, крутили кругом без всякого милосердия... Отпереть его просто, как говорится – «добром» и, прибавлю, для добра, никто не догадался или, вероятно; нельзя было. Ну теперь и верти сколько хочешь – не действует. Вот кулаком со всего размаху – это, пожалуй, так! Если кулаком царапнуть – ну, пожалуй, опять запоет жалобным звуком скорби, страха и мольбы. И, пожалуй, опять отперется... хоть к стону и плачу... Кулак – не свой брат!

Мы оба улыбнулись этому сравнению, а приятель мой, не теряя оживления, продолжал:

– Как я рад... этому замку! Теперь я совершенно ясно и во всех подробностях понимаю, зачем я еду за границу... Именно сердце-то хочу оживить! Хочу поставить его в подлинную обстановку подлинной, какая бы ни была, только подлинной жизни! Там, я думаю, оно опять будет иметь право чувствовать горе тогда, когда перед ним выйдет горе, и радость – когда радость его захватит... Мне надобно восстановить в своем сердце и в своей совести право ощущать именно то, что ощущать следует... Вот от этого-то я и отвык! Думаешь обрадоваться, а приходится плакать – и так всю жизнь!.. Я совершенно отвык думать до тех пределов, пока работает мысль, и чувствовать, пока чувствуется... И это всю жизнь – чувствовать и не дочувствовать, думать и не додумывать, говорить и не договаривать! Вот и надобно *очувствоваться*, пробудить деятельность сердца возможностью без опаски смотреть на жизнь и о ней думать. Надо вновь узнать, что такое добро и что такое зло... Ну, а у нас, то есть по крайней мере лично в моей жизни, разные веяния, направления и течения постоянно заставляли меня менять

взгляды на то и другое. Сегодня это добро, а завтра это же самое уже злом неискоренимым считается. Вот и затуманились представления и о том и о другом, и прекратилась возможность предпочтения одного другому... Вот европейская-то жизнь, я и думаю, оживит меня: добро и зло в ней ярки, на виду, открыты и не прикрашены. Смотри и думай!.. А мне это и нужно... Я хочу опять начать воспитывать свое отупевшее сердце с азбуки... Как я рад этому комоду! Ведь надо же было этому случиться!.. Именно необходимо «очувствоваться», воскресить право «чувствовать» и пожить с этим правом хоть несколько месяцев. Вот зачем я еду!

Я совершенно понимал моего приятеля, но сам, собираясь ехать по России, даже и мысли не мог допустить в себе о каких-то правах на оживление сердца. Я просто чувствовал, что необходимо ехать, чтобы только видеть вообще «жизнь». И в объяснение такой алчности исключительно только к тому, что совмещается в слове «жизнь», будет достаточным сказать, что перед этой поездкой мне пришлось почти безвыездно прожить петербургскую жизнь более полутора года. Если мой приятель имеет возможность указывать, в объяснение своего обесчувствования, на вторжение в его личную жизнь каких-то совершенно не соответствовавших ей веяний, течений и направлений, то я, в объяснение моей алчности к побегу из Петербурга, могу сказать только одно: потому я хотел бежать и смотреть на какую бы то ни было жизнь, что я измучился Петербургом.

Повидимому и, так сказать, по всем документам, Петербург должен бы быть, как столица, центром жизни всей страны, как Париж и Лондон. И он, точно, центр, только не такой центр, куда стекаются мелкие ручейки живой жизни страны, сливаясь в огромное, глубокое вместилище проявления всех жизненных сил нации. В Париже, Лондоне, и только в них, а никак не в дальних уголках Англии или Франции, можно видеть во всей полноте все, чем живут и дышат эти страны. В Петербурге же именно и не увидишь, чем живет Россия. Ручьи русской жизни, стекаясь сюда, сливаются не в открытое озеро жизни, которое едва можно оглянуть взором, но точно уходят куда-то под землю, в какие-то сталактитовые пещеры канцелярий, департаментов, раздробляются еще на более мелкие ручьи, чем те, которые влились в него, и с каждым дальнейшим течением раздробляются всё на меньшие и меньшие струи и капли... В Чухломе, в Пинеге или Батуме можно гораздо многосложнее видеть русскую жизнь, чем видишь и чувствуешь ее в Петербурге. Француз-провинциал, у которого на душе накопели те или другие нужды, желания, едет в Париж, зная, что именно там он может проявить их во всей полноте и объеме. Обитатель Чухломы, подъезжая к Николаевскому вокзалу и медленно вдвигаясь в вагоне в темную его пасть, под темные его своды, чувствует, что именно тут-то и конец его праву желать, фантазировать и хотеть. В Чухлому будет «дано знать» в запечатанном конверте, как ему жить следует, а в Петербурге он ничего не узнает по этой части. Русская жизнь в Петербурге – это пакет с просьбой, жалобой, мольбой, угрозой, стоном и воплем. В пакете она сюда является, в пакете отсюда выходит. Что написано в пакете, который отсюда посылается в Чухлому, неизвестно – пакет запечатан. Не знает тот, кто печатал пакет, не знает тот, кто писал адрес, не знает и тот, кто переписывал бумагу, не знает и тот, кто бумагу составлял, не знает и тот, кто велел составлять бумагу. Тайна и смысл жизни идут из центра к окружности, а не вливаются от окружности в центр, и жить поэтому в Петербурге – это значит не знать русской жизни. Можно знать все указания «по русской жизни», но видеть в них самую жизнь в связи разрозненных явлений, отметить ее главнейшие течения, ясно видеть, где и в чем сила, слабость, добро и зло, – здесь невозможно.

Мне могут сказать, что печать, «газета», не оставляет петербуржца без ежедневных уведомлений о русской жизни. Стали печатать листы в восемь столбцов, стало быть, есть о чем поговорить?

И будь я истым петербуржцем, я бы поверил, что «газеты» вполне достаточно, чтобы знать, как идет русская жизнь. Но, к несчастью, я не петербуржец, и еще более – к несчастью, судьба дала мне полнейшую возможность знать, что такое «внутренние известия» петер-

бургских газет, покоряющихся главным образом интересам петербургского дня, не чуждых видеть «успех» в розничной продаже и радующихся наплыву объявлений о кухарках и кучерах, ищущих места, почти так же, как и успехам русской дипломатии. Возьмите любую из таких газет сегодняшнего дня и посмотрите, что там написано во внутренних известиях о внутренней жизни России? Во-первых, собственная корреспонденция из Корчевы о том, что в городе недавно был пожар, обнаруживший недостатки местного самоуправления, затем (мелким шрифтом) перепечатка из другой какой-нибудь газеты о том, что близ деревни Лукьяновки найден убитым мужик, только что продавший на базаре в ближнем городе пару телят, и третье (тоже мелким шрифтом) – редкий случай рождения семерых детей, которые все, к сожалению, умерли. Конечно, то, что здесь написано, не может служить образчиком «внутренних известий» – известия могут быть самые разнообразные; но какие бы они ни были, всегда они имеют в общем одно неизменное свойство, именно: невозможность объяснить, почему напечатано то, что напечатано, и почему собственно вам, читателю, нужно знать именно то, что напечатано. Родилось семь детей – хорошо. Но почему же пишут именно о семи детях, а не о чем-нибудь другом? И почему из Корчевы, а не из Тифлиса?

Тайна сего не только не велика, а, к сожалению, крайне проста и незначительна.

Бывало, придешь в редакцию вечером, когда уже начинается сверстка номера, когда весь оригинал набран и ожидают только телеграмм, и принимаешься с прискорбием в сердце за внутренний отдел, за характеристику русской жизни в данную минуту. Материал выбран и вырезан господами редакторами отделов (внутреннего, политического, финансового, биржевого) еще утром. Полученные корреспонденции, одобренные редакцией, и бесчисленные вырезки из провинциальных газет уже набраны и лежат на моем столе целою грудой то длинных, то коротеньких корректурных полос. Глядишь на них и думаешь: «Какого-то хламу придется мне понадергать из этой сокровищницы?»

Зазвенел электрический звонок; надо идти в комнату редактора.

– Для внутреннего отдела, – говорит он, – сегодня, кажется, можно уделить строк восемьсот... Кажется, телеграмм будет мало. Ничего особенного нет. Пожалуйста, побольше перепечаток. Денег у нас мало.

«Восьмьсот строк! – с восхищением думаю я. – Вот это будет на что-нибудь похоже!»

И, роясь в материале, корреспонденциях и перепечатках, подбираю на восьмьсот строк вполне благоприличного материала.

Ввиду рабочей поры как нельзя лучше составила весьма определенная картина положения рабочего класса. Подошла и собственная корреспонденция к этому вопросу, и вырезки из газет, и мелкие известия о случаях, касающихся этого же вопроса («не найдя работы, утопился или поджег чужой амбар» и т. д.). Словом, все известия отвечают главнейшему вопросу времени и во всяком случае для большинства читателей, как заинтересованных в вопросах рабочего времени, так или иначе поучительны или по крайней мере не лишни.

Восьмьсот строк наполнены, и наполнены хорошо и поучительно.

Но вот опять звонит электрический звонок. «– Надо убавить на двести строк. Пришло пропасть телеграмм о тайных интригах англичан в Константинополе, о смерти мароккского императора и банкротстве в Мюнхене торгового дома... Да спросите в типографии, сколько объявлений?»

Прежде чем спросить об объявлениях, надобно вычеркнуть двести строк. Но газетные перепечатки неравномерны: в одной пятьдесят строк, в другой сто, в третьей семьдесят пять – словом, надо что-нибудь придумать, если я хочу оставить собственную корреспонденцию невредимой. И вот я вынимаю целых триста строк (надо сохранить набор для будущего) и уже теперь недостающие сто заменяю такую перепечаткой, в которой как раз сто строк. Оказывается, что после корреспонденции о рабочем вопросе приходится поместить сто строк известия о скандале в клубе г. N, причем такой-то разбил такому-то физиономию.

Гармония «обозрения» нарушена, но оплакивать этого горя не приходится, потому что надобно еще узнать, много ли объявлений. Для этого необходимо подавить косточку звонка, проведенного в типографию, и ждать, покуда оттуда, из-под земли, явится уже не писатель, а совсем особенный человек с черными пятнами на лице (бледном и истомленном), с черными руками и хриплым, гробовым голосом.

– Много объявлений?

– Много-с!.. Сейчас вот от купчихи похоронное объявление приняли... Нарыдала она с горя строк на пятьдесят места.

– А так-то, вообще, сколько можно оставить для внутреннего?

– Да строк на триста... Да и то вряд ли... Фельетонист расскандальничался строк на двести лишку... Охаивает кого-то... А ведь вы сами знаете, Кузьма Иваныч, что издатель охотник до этого... Нарасхват пойдет номер!..

«Вот тебе раз!» – думаю я в сокрушении.

В одной корреспонденции оказывается четыреста пятьдесят шесть строк, и, следовательно, ее либо надобно урезать, либо заменить чем-нибудь другим. Но урезать корреспонденцию на полтора ста строк невозможно. Необходимо ее отложить.

Вместо рабочего вопроса появляется таким образом корреспонденция из Корчевы о том, что вчера проехал преосвященный, затем следует ранее заготовленная перепечатка о драке в клубе и прибавляется еще перепечатка о камне, упавшем с неба. Итого получается количество строк «в обрез».

Но едва вы подумали, что дело кончено, как в редакцию является репортер. Он в страшных попытках – только что случился крупнейший пожар на Лиговке, сгорел уксусный завод, один пожарный переломил ребро, и, кажется, погибла маленькая девочка. Происшествие «городское», и хроника, не заносищая на свои столбцы таких происшествий во всех мелочных подробностях, уже не хроника, и городской читатель не простит этой небрежности.

Для внутреннего отдела остается таким образом всего двести строк, и потому приходится оставить только корреспонденцию из Корчевы о проезде архиерея. Но разве это «отдел»? Что же тут «внутреннего»? Необходимо опять порыться в заготовленном материале и составить «известия» почти заново.

Отдел таким образом составляется из таких куплетов: драка в клубе, упавший с неба камень, механик-самоучка и старик, умерший на сто двадцать девятом году, сохранив в целости все зубы.

«Кажется, всё?» – думается наконец. Но – увы! – электрический звонок главного редактора опять заиграл что-то и зовет вас.

– Скончался генерал Шомполов. Необходимо поместить некролог... строк двадцать пять. Пришла еще телеграмма: Кальноки² едет в Эмс. Патти простудила горло. Новая опера Гуно³ имела блестящий успех, и в Нью-Йорке была буря... Строк пятьдесят.

Стиснутый таким образом, с одной стороны, «городскими» событиями, с другой – кухарками, кучерами, телеграммами и т. д., внутренний отдел в конце концов представляет следующее плачевное зрелище:

С неба упал камень.

Умер столетний старец.

Крестьянин Егоров упал в колодец вниз головой.

Пароход «Нептун» прибыл в Батум.

Актрисе Куприяновой в Саратове поднесли букет.

Вот она, внутренняя русская жизнь в ежедневной газетной живописи!

² Кальноки Сигизмунд, граф (1832–1898) – австро-венгерский дипломат.

³ Гуно Шарль (1818–1893) – известный французский композитор.

Но не думайте, чтобы заготовленный материал так и не пошел в ход, – нет, «набор не пропадет». Только о рабочем вопросе будет напечатано, когда он уже потеряет всякий интерес, например в сентябре; известие о драке также найдет свое пристанище когда-нибудь, когда найдется ему два-три вершка свободного места. То же самое идет и по другим отделам. За репортером, прилетевшим с вестью о пожаре, может явиться другой репортер – музыкальный, и ему никоим образом нельзя отказать в отчете о бенефисе любимой актрисы: это – городские вести, которыми живет и дышит городской читатель. Но так как пожертвовать содержанием «внутреннего отдела» в пользу заметки о бенефисе уже нельзя, так как внутренний отдел и без того уже окончательно нелеп, то принимаются и за другие отделы. В некоторых известиях, например, был прекраснейший пересказ последнего парламентского заседания в Лондоне по аграрному вопросу; вот его-то и приходится отложить до предбудущего времени, а опроставшееся место заполнить восторженным гимном бенефициантке, настроенным репортером, еще не очухавшимся от бенефисного ужина у Понсе.

Даже и то, что пресса дает нам подлинно петербургского, местного, приказы о назначении, перемещении и награждениях, законоположения, изменения и дополнения – все это вместе с сумбуром «внутренних известий» не может быть приведено вашей мыслью ни в малейшую связь. Отставка генерала Куприянова, назначение Федорова на место Протасова так же для вас и вашей мысли чужды и не нужны, как и падение с неба камня и смерть старика. Политические европейские дела всегда неизмеримо яснее для вас и всегда имеют даже в поверхностных газетных извлечениях понятные и видимые исходные пункты и перспективы. И ничего подобного не видно относительно русской жизни.

Приняв во внимание, что и я не чужд был до некоторой степени тех душевных страданий, в которых исповедовался перед отъездом за границу мой приятель, что и в моей душевной изнуренности также не последнюю роль играли разные веяния и течения, и присоединив к этому характернейшую особенность собственно петербургской жизни, то есть особенность такого места, где о русской жизни ничего никому неизвестно, читатель, я надеюсь, поймет, почему я так жадно рвался видеть именно жизнь, почему мне было необычайно весело видеть даже ту жизнь, которую можно видеть из вагона и в вагоне, и почему, наконец, я был искренно рад, что возница мой опоздал к пароходу.

Он дал мне время «отдышаться», приучиться опять ощущать радость жизни вообще, и меня действительно радовало решительно все, самая мелкая мелочь, даже и то, что вовсе не порадовало бы при более тщательном внимании; но я не хотел, я просто даже не мог быть внимательным к чему-нибудь неприятному. Истомленное воображение само старалось за меня, само окрашивало все виденное исключительно только в розовый цвет.

2

Под влиянием такого-то душевного настроения какое чудеснейшее впечатление произвело на меня пребывание в таком милом «месте», как Новороссийск! Я употребляю слово «место», не определяя его каким-нибудь более точным административным термином, потому что Новороссийск совершенно не напоминает ни города, ни села, ни станицы, ни деревни, а есть пока просто «милое», тихое, не беспокойное жилое место, которое, не имея ничего определенного в настоящем, дает вам полную волю мечтать, без всяких стеснений мысли, о его будущем. Впечатление, которое можно все-таки кое-как определить человеческим языком, это то, что Новороссийск – начало чего-то, зеленый стебелек, едва-едва показавшийся на девственной почве пустынного побережья.

Девственность, начало новой жизни на этих старых местах, опустевших после бегства горцев в Турцию, новая девственная растительность, до основания уничтожающая малейшие следы старины, – вот она-то и веселит усталое сердце в этих безлюдных, но обновляющихся жизнью местах. Пока еще греховодник-капитал не показывал сюда своего носа, по крайней мере в своих подлинных размерах, и не успел раздражить запахом своих приманок этой невинной земли и этого невинного воздуха, который обвеивает ваше лицо и которым дышат ваши больные легкие. И такая прелесть начинает чувствоваться почти тотчас же, как только дорога, бегущая по кубанской степи, входит в предгория Кавказского хребта.

Кавказский хребет, подходя к Черному морю, как будто бы смиряется и затихает в своем бунтовстве: довольно он намудрил и напугал человека там, в глубине Кавказа; довольно он там намучил его своими ущельями (какое скучное слово!), скалами, высывающимися из облаков, ревущими реками и пропастями бездонными. Довольно он надивил, настрашал и навосхищал вас там, «в своих местах», теперь – будет! Там, в своих-то местах, он широко развернулся, самому небу доказал, на какие способен он чудеса, теперь же пора и отдохнуть. И, приближаясь к Черному морю, точно к дому, откуда ушел гулять по белу свету, он как будто отдыхает от своих чудовищных подвигов; идет он ровным шагом и тихо улыбается вам, встречному прохожему, мягкими, живописными очертаниями ничем не пугающих гор, живописных долин, глядя на которые с вершины этих смиренных высот, чувствуешь и видишь только одно, именно – как они хороши, живописны, и нет того головокружительного ощущения и мысли о возможности «помереть *не своею* смертью», которые с такою неистощимой любезностью преподносил вам на каждом шагу настоящий, головокружительный Кавказ.

Отличная, ничем не уступающая Военно-Грузинской, шоссейная дорога, начиная от станицы Небережайской (последнее жилое место по дороге от Екатеринодара в Новороссийск), на протяжении около тридцати верст идет между этими смиренными горами, извиваясь поминутно такими же змеиными изгибами, как и Военно-Грузинская, но без всяких по коже подирающих свойств этой последней. Дорога эта совершенно пустынна; две почтовые станции да керосиновая передаточная станция (пробирается-таки греховодник!) – вот все «жилое», попадающееся на этом пути вплоть до Новороссийска. Но именно в этой-то пустынности и есть что-то необыкновенно девственное, освежающее. Молодая трава, цветы, деревья, изгладившие малейшие впечатления старины, радуют тем, что никто, повидимому, еще не пробовал топтать эту траву и цветы и никто еще не замахивался топором на эту юную растительность. Невинно, мягко, пушисто здесь все, в этих; смиренных и тихих горах.

В дни моей поездки, раннею весной, горы эти еще не были вполне опушены листвою; леса, покрывающие эти горы густою и частою, как шерсть, растительностью, почти еще голы; на темном фоне их только ярко золотятся желтые густые клубки распускающегося кизила, а в долинах белеют, как снег, белым цветом дикие яблони: все еще голо, но голо целомудренною

наготой, провеяно чистым весенним воздухом, в котором чувствуется еще свежая струйка где-то лежащего снега, и вообще все юношески свежо.

В такие-то минуты я поистине с содроганием «во всех суставах» заметил в этих девственных местах явный след «греховодника». Заметил я какую-то тоненькую, дюйма в два в диаметре, чугунную трубочку, которая по временам стала показывать свою змеиную спину в разных местах этих девственных долин.

«А ведь пробирается-таки греховодник-то! Пробирается, анафема!» – с истинным ужасом и скрежетом зубов думалось мне всякий раз, когда мелькала железная спина железного червяка.

Увы, действительно пробирается железный червяк! Из рассказов фургонщика оказалось, что червяк этот уже довольно давно воткнул свой железный нос в недра земли верст за восемьдесят от Новороссийска, в станице Ильской, и уже давно высасывает эти недра. В предгорьях червяк этот поднимается от земли и лезет либо на пригорок, либо перегибается через вершину резервуара, откуда, при помощи парового давления, нефть гонится до самого Новороссийска через горы, и до Новороссийска же доползает и сам железный червяк. И здесь, по другую сторону бухты, против того веселого места, которое именуется Новороссийском, уже видны какие-то греховодниковы затеи: резервуары, заводы, черный, точно из ада, фыркающий, дым, – и нельзя не содрогаться всем существом, видя, что греховодник уже проложил дорогу. И насыпь железной дороги, к глубокому огорчению, кажется почти уже готова до самого моря! Пришел, пришел-таки греховодник! И было бы до глубины души обидно за эти девственные места, если бы не существовало некоторых преград, самую природой противопоставляемых успешному шествию греховодника и дающих некоторое право задумываться над таким вопросом: «Да удастся ли еще и греховоднику-то затоптать и замусорить здешние девственные места?» Кое-что есть и против замыслов греховодника, и на этом-то «кое-что» только и отдыхает душа.

Прежде всего оказывается, что не дает греховоднику ни проходу, ни проезду так называемый «трескун-камень». Железной дороге необходимо в двух местах пробиться через горы этого самого трескуна-камня, а трескун не пропускает. Станут его рвать динамитом – думают, он и в самом деле камень, а он, вместо того чтобы разваливаться глыбами, как бы следовало поступать настоящему камню, разлетается вдребезги пылью, рассыпается в муку и засыпает дорогу на том самом месте, откуда его хотели удалить. Если же случится дождь, то трескун мгновенно превращается в тесто, и тогда дорога оказывается залитой бездонною грязью, с которой ничего не поделаешь. «Хорошо, – подумалось мне, – поступает с греховодником трескун-камень! Смртоубийственно и вместе с тем кротко действует – это черта российская!»

Не менее ядовито поступает с греховодником и самое солнце кавказское. Какое оно чудное, животворящее! А тоже норовит подставить греховоднику ногу!

Здесь, на Кавказе, это ласковое солнце, как известно, творит чистые чудеса по части растительности. В год, в два дерево вытягивается в росте вдвое-втрое против роста того же дерева в средней или северной России. Но, вытягивая с такою энергией соки для питания растения из земли, то же самое солнце с тою же самою энергией вытягивает соки и из самого растения и из его плодов, которыми оно обильно его одаряет. Говорят, что доска из здешней сосны или дуба, как бы хорошо ни была высушена, под палящими лучами солнца скоро коробится, трескается по слоям, если только не защищена чем-нибудь посторонним, например штукатуркой. Даже самый могучий дуб, по словам местных хозяев, не стоит б здешних постройках более трех лет: солнце, напоившее и накормившее его, вытянет из него потом все соки, расщеплет его, избороздит трещинами, весьма удобными для поглощения дождевой влаги, которая, под теми же палящими лучами, испаряясь и тлея в мертвом теле дерева, способствует его окончательному уничтожению и разрушению. Говорят, что фрукты в горных лесах Майкопского уезда и Черноморского округа, рождающиеся в несметном количестве, также весьма не прочны; груши и

яблоки на вид очень велики и очень крепки, но сорванные с дерева скоро портятся, и внутренность их истлеивает в течение четырех-пяти дней.

То же самое (по рассказам случайно встречавшихся местных обывателей) происходит и с зерновым продуктом. Говорят, что хлеб, возделываемый по левую сторону от Кубани, то есть в самых благодатных местах предгорий, так же красив на вид, жирен, крупен и так же, как и все, растущее на здешней жирной земле и под здешним пламенным солнцем, недолговечен и непрочен; за здешним хлебом нужен постоянный и тщательный уход: проветривание, пересыпка, иначе он начинает кишеть паразитами и даже слипается в пласты. Крупные хлеботорговцы стараются купить такое количество хлеба, которое могло бы пойти в дело по возможности в скором времени, чтобы не держать это изнеженное зерно в амбарах, хотя бы этого требовали расчет и выгода. Изнеженное зерно не выдерживает продолжительного пребывания в амбарах и гниет. Кстати сказать, что это изнеженное зерно так не похоже на наше, притерпевшееся ко всем случайностям, что опытный хлеботорговец узнает здешнее зерно по одному только взгляду. Нет в нем нашей ржаной «строгости». И вот такой-то изнеженный хлеб, изнеженный лес, изнеженный фрукт и должен бы быть главным кормильцем и поильцем строящейся железной дороги, так как хлеба кубанских земель, лежащих по правую сторону Кубани, вероятно пойдут к Ростову, по крайней мере из северной части Кубанской области. Но уже в самой изнеженности всех этих товаров таится некоторое противодействие успехам греховодника, так как, кроме фруктов, леса и зерна, что же есть здесь другое? Есть, правда, скот и, вероятно, будет табак, но об этом я не могу сказать ничего определенного, хотя и сожалею, что греховоднику все-таки есть чем поживиться.

Однако же и это прискорбное обстоятельство значительно смягчается еще третьим, кроме перечисленных выше, препятствием грядущему греховоднику. И препятствие это пожалуй что будет поценнее всех вышеупомянутых: это – бухта. Она действительно похожа на котел и кипит, как котел на огне, когда начнет здесь свирепствовать норд-ост или по-здешнему *бора*. Порожняки-извозчики, переезжая в такие бурные дни через горы, наполняют свои фургоны и телеги камнями, иначе ветер снесет их в овраги, перевернет и изобьет как ему угодно.

– Иной раз бывает такая штурма, – говорил мне сторож на пристани Русского общества пароходства, – не приведи бог! По целым неделям не заходят пароходы: не пускает буря. И якорь не держит, дно каменное, не за что зацепить.

Рассказал он мне, что будто бы хотят (не знаю, кто именно) рвать горы, окружающие бухту, динамитом, чтобы «вроде как отдушину сделать для воздуха, а то как надавит его сюда, в котел-то, так точно ад кромешный раскрывается!»

Не знаю, была ли «штурма» в то время, как я разговаривал со сторожем на пристани, но, пока шел разговор, я должен был изо всех сил держать одною рукой шапку, а другою держаться за фонарный столб, потому что, на мой взгляд, ветер рвал как бешеный. Да и не только на пристани, а вот и в гостинице, все-таки на некотором расстоянии от самой «штурмы», и то приходится иметь с ветром беспрестанные столкновения! Где-нибудь отворят дверь, а ветер так ее затворит, что точно из пушки выпалит, и потрясет все здание. Покуда выбьешься из подъезда на улицу, необходимо иметь продолжительную дуэль с дверью подъезда, необходимо нападать на нее, собрав все свои силы, бросаться очертя голову и вообще не бояться смерти.

Все это весьма меня радовало, и я с удовольствием подумывал о том, что, быть может, с божьей помощью, а также и с помощью трескуна, изнеженного зерна, неумолимой боры и капризной бухты – быть может, греховоднику-капиталу и не удастся замусорить этих девственных мест, не придется «почавкать» своею сладострастной пастью всякого свеженького мясца и «кровушки свеженькой из девственных мест повыточить».

Много, много здесь весьма благоприятных условий для того, чтобы греховодник «не солоно хлебал» (так мне казалось), но, к несчастью, не меньше есть и признаков того, что гре-

холодник идет, что он близко, что он уже разевает свою пустопорожнюю пасть, и охотников свеженькой кровушки повыточить немало стремится в эти девственные места.

Еще по дороге к Ростову, затем на владикавказской линии и далее, по станицам и по большой конной дороге к Новороссийску, постоянно встречаются люди каких-то полутемных биографий, мечтающие и рассуждающие о Новороссийске. По разговору видно, что люди эти уже видали виды; бывали они в Бессарабии, и Петербург знают, да и в Ташкенте, в Закаспийском крае изучили положение дел и карманов и, убедившись, что вообще во всех виденных ими местах никакого карманного «толку нет» и что вообще все это «пустой разговор», в конце концов норовят «попробовать и Новороссийск». Иные из них откладывают эту пробу до того времени, когда будет открыта железная дорога, а другие и теперь едут и обнюхивают новое место.

Едут какие-то восточного типа верзилы в фесках, с удрученной походкой, с беспомощно болтающею головой, как бы притягиваемою к земле тяжеловесным восточным носом; едут они сюда с каким-то непостижимым товаром, напоминающим обсахаренный мусор, взятый с улицы, с какими-то маленькими ягодами, перепачканными в обсахаренную грязь; но их верзильный рост и воловьи, с тупым выражением, глаза заставляют думать, что им не чужд и тот род коммерции, в корне которого таится коммерческий прием, определяемый словами «секим башка».

И жидок, нервный, напряженно внимательный, проворный, как ртуть, шмыгая по девственным местам из угла в угол, норовит прицелиться своим пронизательным взором к чему-нибудь свеженькому и сочному.

Наконец и наша великороссийская «бакалейная и мускательная» щетинистая рыжая борода по временам также сверкает здесь бураками своих молодцовских сапог.

Увы! Пришел-таки и разинул пасть. Выйдя с постоялого двора и перекрестившись большим крестом, она бодро отправляется разведывать и приценяться; там запускает она руку в воз сена: выхватит клочок, понюхает и даже пожует; там в горсти у нее окажется пшеничка, ячмень, овес; все это борода попробует на зуб, разгребет пальцем, подует и на руку весом прикинет, а потом крякнет и пойдет в заведение пить чай, соображать и прикидывать «так и эдак».

Но пока все эти опыты всех охотников «свеженькой кровушки повыточить» не увенчиваются никакими положительными результатами. Сколько обнюхиватели новых мест ни упражняют своего обоняния – нет! пока ниоткуда еще не несет падалью. Напротив, все еще девственно, свежо и чисто. Попробуют они и «на зуб» и «на язык», и на руку привесятся, и глазом прицелятся, да с тем пока и должны отправляться в обратный путь, в какие-нибудь новые, уже тронутые «греховодником» места, например в Екатеринодар.

Этот город действительно уже тронут практическим человеком. И хотя железная дорога еще не открыта, но практический деятель уже свил себе здесь прочное гнездышко, и, глядя на «процветание» Екатеринодара, нельзя не порадоваться непроцветанию Новороссийска: бухта – слава создателю! – пустым-пустехонька; на пристани Общества пароходства всего только пять керосиновых бочек, с десятков лодок у берега, на самом берегу штук пять не введенных в воду купален – вот пока и все здешнее процветание. Вся синяя волнующаяся гладь залива, окаймленного девственными горами, пока, слава богу, чистехонька: ни лодочки, ни парохода, ни паруса! Ко всему этому ни у лодок, ни у купален, ни на пристани около керосиновых бочек нет ни единой человеческой фигуры: ходит ветер, да волны шумят, и никакой язвы покуда ниоткуда не видать...

Да и на берегу все, слава богу, честно и благородно: домики стоят кое-где, «как бог привел»; живет ли кто в них – неизвестно; но все, благодарение богу, тихо. Амбарчики кто-то выстроил на «предбудущие времена», но «пока что», – а амбарчики заперты наглухо, и напрасно норд-ост стучит в запертую железную дверь и рвет железный висячий замок, – ничего еще в этих амбарчиках нет, а бог даст, так ничего и не будет!

– Что-то бог даст завтра! – оканчивая свой торговый день, говорит наш российский мужичок, выдвинувший в упор норд-осту и грядущему греховоднику-капиталу свой деревянный шалашик с надписью: «Кислощейное заведение с продажей квасу». И нельзя не согласиться с ним, что «завтра» для Новороссийска покрыто полным мраком неизвестности.

Этот «кислощейный» мужик и этот девственный Новороссийск чрезвычайно похожи друг на друга: мужичок выстроил на самом юру ветров шалашик из шести-семи нестроганных тесин, прилепил вверху навеса кислощейную вывеску, повесил на стену «патрет» и вид Афонской горы, поставил на тесину, заменяющую стойку, бочонок с квасом, три толстобочных стакана, пяток бутылок с квасом, перекрестился и вместе с своею «бабой» стал ждать, «что будет». До сих пор пока ничего нет: только норд-ост забирается ему под рубаху, вздувает ее пузырями на его спине. Что касается его «бабы», то и она пока имеет дело только с норд-остом: чуть вышла из будки, так ветром ее подхватит, раздует весь ее «ситчик» и того гляди умчит неведомо куда. Идут и наши земляки мимо кислощейной, да ветрено и пить холодного неохота «пока», а носастые азиаты, так те, проходя мимо, только косят глазами и на бочку и на вывеску. Так и проходит день; а часов в семь мужик с бабой выберутся из будки, заставят ее досками, помолются на небо, поклонятся на все четыре стороны и идут домой, на фатеру, «пожевать» весового хлеба наместо ужина, идут и говорят:

– Что-то бог даст завтра!

А завтра тот же ветер, и все то же, что и вчера. Так вот Новороссийск и живет, ничего не видя «настоящего» сегодня и не зная, что бог даст завтра!

Сегодня, чтобы как-нибудь истратить целый праздный день, остающийся в моем распоряжении до прихода парохода, я задумал совершить целых пять дел и зайти в пять разных мест, полагая, что на эти пять дел уйдет все-таки хоть два часа времени. Задумал я пойти на пристань, на почту, на телеграф, в лавку купить чаю и, наконец, остричься.

После кровопролитной и продолжительной битвы с дверью подъезда, во время которой я два раза почти уже одержал победу и проникал на улицу, но тотчас же был вдуваем или даже вбиваем ветром вовнутрь гостиницы, точно так, как пулю вбивает шомпол в дуло ружья, – после всех этих мучений я в конце концов очутился все-таки на улице и здесь, оглядевшись, к крайнему сожалению моему увидел, что все пять мест, которые я задумал посетить, находятся тут же, чуть не у самого подъезда, сосредоточиваясь таким образом все в одном месте: в двух шагах почта, еще два шага – телеграф, через дорогу «бакалейная и мускательная», а в десяти шагах и пристань. Все это при деятельном участии норд-оста я посетил не более как в пять минут, и мне оставалось одно утешение – парикмахерская, где уж наверное я пробуду минут пятнадцать и таким образом хоть эти пятнадцать минут отниму у совершенно праздного дня. Парикмахерская опять-таки оказалась «тут же», в двух шагах, и была также совершенно девственна; на дверях были нарисованы люди: одного бреют, у другого отворяют кровь – рисунки, как видите, почти столь же древние, как и византийские фрески. У самой двери на полочке стояли «банки» и лежали машинки для кровопускания – тоже инструменты, давно исчезнувшие из современной парикмахерской. В комнате было накурено, так как в ней от нечего делать и, очевидно, в ожидании, «что бог даст завтра», сидели разные люди восточного, еврейского и русского типа из числа «присматривающихся», «прицеливающихся глазом», пробующих и на язык и на зуб и вообще ожидающих у моря погоды. Делать им было, очевидно, ровно нечего, и они все свое внимание сосредоточили на мне и на парикмахере, который меня стриг; они так же, как и я, наклоняли голову в ту сторону, в которую парикмахер наклонял мою, делали такие же гримасы, какие приходилось делать мне, и даже делали замечания.

– Пожалуйста, уха барину не отрежь ножницам! – сказал какой-то азиат. – Ты мне уха резал!

– Зачем нам ухо резать! Слава богу, кажется, на своем веку довольно практиковал!

Но и это занятие, к сожалению, весьма скоро прекратилось. Прекратил его я сам, испугавшись какой-то горчичницы, из которой парикмахер хотел что-то вылить мне на темя. Поблагодарив его за услугу, я поспешил уйти, и затем мне ничего иного не оставалось, как возвратиться в гостиницу, то есть сделать еще только два шага.

Гостиница пуста; кроме меня и какого-то черного человека, очевидно с полутемною биографией и таинственным большим узлом с таинственным товаром, сидящего в темном номере, никого нет. В зале накрыт общий стол и стоит открытое пианино; но никто не играет и никто ничего не ест. Лакей спит; поспит, встанет, обмахнет салфеткой лампу, графин, вздохнет и опять сядет к столу – дремать на своих локтях. Тишина мертвая; только ветер свищет в окнах, в дверях, в трубе, в заслонке, да кошка мяукает беспрестанно. Весь дом, в ожидании, «не будет ли чего-нибудь», предпочитает дремать и даже, кажется, спит. На площади перед окнами стоит один ломовой извозчик и идет один прохожий.

Надо спать. И спать здесь хорошо, да и проснувшись также хорошо себя чувствуешь: необыкновенно приятно побыть некоторое время в таком «месте», где ничего не знаешь о прошедшем, где нет ничего в настоящем и где поэтому не беспокоит мысль о будущем. Тишина, ветер – и ровно ничего такого, что бы могло навести на какие-нибудь личные воспоминания о прошлом и предаться поэтому невеселым думам о всяких пережитых тяготах и бесплодно утраченных годах. Правда, приходили терзать меня и такие думы и воспоминания, но систематическое отсутствие впечатлений, упорная тишина, упорный шум ветра, пустота улицы и дома преодолевали напряженность мысли о прошлом и делали мысль совершенно свободной, вольной. А раз ей, этой изболевшей мысли, выпала на долю такая счастливая минута, не захочет она добровольно утомлять себя, умственно возвращаясь к покинутым воспоминаниям о тяготе жизни. Почувствовав себя на полной свободе, она, как птица, выпущенная из клетки, летит к свету и к солнцу.

Вот такое-то стремление овладело и моею мыслью, которой в этом милом «месте», именуемом Новороссийск, не за что было ухватиться, чтобы заскучать и затосковать, и потому мне стало припоминаться только то, что оставило в душе светлый след. А на мое счастье, одна только неделя переезда от Петербурга до Новороссийска, то есть одна неделя самого поверхностного соприкосновения с живою жизнью русского народа, уже много дала мне радостных минут. Об этих-то радостных минутах я и стал думать среди моего прекраснейшего и ненарушимого одиночества и, думая, ясно понял, почему мне стало теперь так весело на душе, почему меня так обрадовали и эти тихие горы, и этот «трескун», и норд-ост, и вообще все, что видел мой глаз. Была этому началу радости серьезная причина, и заключалась она в следующем.

3

Наслушавшись в Ростове, на станции, разговоров между проезжими о том, что новая дорога от станции Тихорецкой до Новороссийска уже действует и что по ней уже ездят, хотя она официально и не открыта, я задумал и сам проехаться по ней и посмотреть на новые, не виданные мною места. Но при первой же справке у начальства оказалось, что поезда ходят только служебные, а пассажиров не принимают. Такой неласковый ответ начальства дал мне повод опять загрустить о чем-то.

Нужно сказать, что при всей моей радости видеть живую жизнь тоска, намучившая меня в Петербурге, постоянно мешала моим веселым впечатлениям в первые дни поездки. Маленькие радости поминутно омрачались привычною болью изломанного сердца, и на смену вот этой капельке тепла, живой радости – грубо надвигались черные и как лед холодные воспоминания. Мгновениями казалось, что в таком настроении и ехать-то некуда и незачем, и малейшая неприятность, даже простое неудобство положительно сокрушали и обессиливали, так как трогали уже изболевшие от черных впечатлений нервы, уничтожали надежду на что-нибудь радостное, обессиливали. Вот в такое-то обессиленное, близкое к полной тоске, состояние привел меня и такой пустяк, как отказ «начальства» в билете на проезд от Тихорецкой станции до Екатеринодара. Стало мне как-то непомерно скучно и тяжело, но это продолжалось по обыкновению только мгновение, тем более что и само провидение уже пеклось обо мне.

В то время, когда я шел разочарованный после разговора с начальством, на меня пристально и по-отечески смотрели ласковые глаза какого-то русского человека. Это был какой-то низший железнодорожный служащий в рабочей блузе, с бляхой и в черном картузе с белым позументом. Его доброе, мягкое сердце, вероятно, почувало, что у меня на душе нескладно, что мне невесело, и он, как добрый человек, должно быть, подумал обо мне:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.